

Говорят, что авторитет приобретается работой. <...> Но авторитет приобретается не только работой, но и страхом. И вот этот страх ЦКК и РКИ нагнать уже успели. С этой стороны авторитет их растет. А потом этого орудия ЦКК из рук выпускать не должна²²².

4. «ПО ПСИХОЛОГИИ ТРОЦКИСТ»

Эмоции, наряду с конфликтами, были всепроникающими «токами» внутривнутрипартийной борьбы. Их значение состоит не в том, что они просто выражали и обрамляли психическую деятельность оппозиционеров, но в том, что они являлись атрибутами политической деятельности. Эмоции пронизывали коммуникативные механизмы политической борьбы, в которой аффективность и стихийность были тесно переплетены с прагматикой и целенаправленностью²²³. Уильям Редди справедливо указывает, что «необходимым фундаментом любого стабильного политического режима» является «эмоциональный режим» — «набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, практик и эмотивов, которые их выражают и внедряют»²²⁴. Реконструкция эмоционального режима тесно связана с вопросом: представляла ли оппозиция собой определенное «эмоциональное сообщество»²²⁵ или различия касались эмоциональных «стилей»²²⁶. Для выяснения этого следует обратиться к практикам выражения эмоций в политическом языке, иначе говоря, к эмоциональным высказываниям, обладавшим перформативным значением. Вслед за Игалом Халфином, изучавшим смех в качестве «ритуала коллективного поведения», здесь внимание будет уделено не тому, что «на самом деле» чувствовали большевики, а тому, как ритуал практиковался²²⁷.

В политическом словаре 1924 года «эмоция» определялась кратко как «волнение, чувство, подъем чувств»²²⁸. Главным же обозначением эмоциональности в реальном словаре внутривнутрипартийной борьбы служило понятие «страстности». Оно часто звучало и в общественно-политической публицистике XIX века, и на заседаниях Государственной думы. Подобно депутатам имперского парламента, Преображенский мог сказать, что «большую страстность внесли представители большинства»; сторонник ЦК Ларин говорил о «страшной страстности» вспыхнувшей борьбы; Зиновьев призывал «не давать себя увлекать фракционной страстностью», а в резолюции одного из Одесских районов звучало предостережение «от внесения в дискуссию элемента страстности»²²⁹. Наконец, советский сатирический журнал,

пародируя рекламные объявления, в числе «новейших изданий» предлагал «*В волнах страстей*. Модный партвальс [партийный вальс]. Сочинение коллективное»²³⁰.

Участники внутрипартийной борьбы вступили в режим «страстности» после публикации «Нового курса» Троцкого и критики в его адрес. За несколько дней до этого, в начале декабря, выступавший после Каменева Преображенский мог иронизировать, что он «...даже поддался его такому мирному успокоительному тону. Как будто так обстоит хорошо и обстояло хорошо, так все благодушно, мирно, и в результате как будто после этого приходится сказать: да, можно идти спать, все обстоит прекрасно». В это время оппозиционеры держатся уверенно и наступательно. Делегат Юркин увидел негативную сторону дискуссии в том, что если одни «товарищи выступают с жестокой критикой по отношению к ЦК», то другие «начинают аплодировать, хихикать и т. д.»²³¹.

«Благодушный» период длился не долго. Бухарин, реагируя на рост напряженности, тщетно убеждал, что на «внутрипартийную дискуссию нельзя смотреть, как на театральное представление»²³², так как участники дискуссии переживали театрализацию, в рамках которой одни становились актерами, другие режиссерами, но все они, включая зрителей, оспаривали роли и правила игры. «Просто не знаешь, где кончается рабочая диктатура и начинается уже настоящая диктатура языка, — сказал под аплодисменты о Зиновьеве Преображенский. — Вся его речь есть художественное вранье, очень талантливое, я слушал сам с удовольствием, как на сцене интересную игру. Я понимаю толк в хороших выступлениях, слушал и улыбался с удовольствием»²³³. Эмотив²³⁴ «удовольствия» в это время уже практически отсутствовал в риторике, уступая дорогу страданиям. Так, 20 декабря студент Московского института инженеров путей сообщения уже был вынужден убеждать аудиторию «Правды», к которой он обращался, что «настоящая дискуссия это не болезненное, а вполне здоровое, радостное явление...»²³⁵.

Наступило время, которое Зиновьев, даже полгода спустя, в политическом отчете ЦК делегатам XIII съезда РКП(б) рисовал в экспрессивной манере: «Партия не спала ночами. Ее лихорадило... партия была взбудоражена, как улей... Партия была потрясена до дна»²³⁶. Для более спокойных дней эта коннотация звучала особенно негативно, и у самого оратора могли остаться свежие воспоминания о том, как он вопрошал, не «чувствуется» ли, что партия «...в Москве кое-где кипит как улей... что это не одна партия, а партия в партии. Разве мы не имели этого чувства на некоторых ячееках...»²³⁷. Зиновьев верно передавал атмосферу многих дискуссионных собраний.

Показательна в этом отношении конференция Замоскворецкого района Москвы, в начале которой один из делегатов заявил, что, в случае избрания оппозиционеров в члены президиума конференции, «мы потеряем всякий смысл и поедем на Канатчикову дачу». Ссылка на печально известную клинику для душевнобольных отражала эмоциональный накал конференции, в конце первого дня которой председатель прекратил заседание из-за «суматохи» в зале²³⁸. Рыков начал свой доклад на райпартконференции в Сокольниках с описания страстей на завершившейся Краснопресненской конференции: после того как оппозиция оказалась в меньшинстве, она якобы «объявила фракционное заседание», а большинство противодействовало этому: с двух часов ночи «стоял шум» и только в четыре часа «после невиданного шума и истощения... члены конференции разошлись по домам»²³⁹.

В таких условиях борьба за эмоциональный режим имела вполне практический смысл. Довольно типичными звучали просьбы к тем, устами Зиновьева, кто «плохо информированы или другого темперамента», проявить «немножко хладнокровия», «не злобиться, а попытаться вдуматься»²⁴⁰. Такие нормативы нарушались тем более часто, чем более уверенно чувствовали себя оппозиционеры, отказывавшиеся «хладнокровно» принимать взгляды оппонентов. Установить допустимые границы эмоций в Университете Свердлова, где большинство было за оппозицию, Каменеву не помог ни авторитет, ни даже ссылка на договоренность с содокладчиком от оппозиции:

Мы уговорились с содокладчиком, что просим собрание... не перебивать. Товарищи, я знаю, что на подобных грандиозных собраниях часто господствуют эмоциональные чувства и что, может быть, самой правильной формой моего доклада была бы эмоциональная форма, но я попытаюсь... апеллировать к вашему политическому разуму... <...> Я начал свой доклад с указания на то, что атмосфера нашей дискуссии в последнее время стала... отравленной и что я буду пытаться апеллировать к вашему политическому разуму, а не к чувствам, не к слухам и не к персональной характеристике. К сожалению... на этом собрании все эти элементы имелись...²⁴¹

Противопоставление эмоций — разуму было неотъемлемой частью «просвещенческого» нарратива, разделяемого и большевиками. Но этого было недостаточно. «Нежелательным» в выступлении Троцкого для Каменева было «сеяние тревоги и смущения

на самом опасном повороте». «Пессимизм овладел бы нами, если бы эта дискуссия... дала бы хотя бы маленькую расхлябанность нашей партии», — продолжал Каменев, призывая к «внутрипартийному миру» и «спокойному, без обострения» обсуждению и выправлению «ошибок». Если Военная академия примет оппозиционную резолюцию, предостерегал Каменев, то это будет равнозначно обвинению ЦК в превращении его в «трусов и подхалимов», что создаст «обстановку, при которой командовать страной невозможно»²⁴². Для будущих командиров аргумент «трусости» был наиболее важен. С опорой на «архивы», Каменев легитимировал грубость как правильный элемент стиля:

Мы не будем говорить о тоне. <...> Эти [оппозиционные] резолюции говорят о том, что нужен другой «стиль», другой «тон», что нужно писать «мягче». Повторяю, в архивах у нас есть сотни таких резолюций, которые выносятся тогда, когда мы ведем бешеную борьбу против тех, которые готовы разогнать нашу партию. Скажите же еще раз, что желательно, чтобы мы сжали свой темперамент, писали не так грубо, как пишет тов. Сталин, чтобы «Правда» имела другой тон и стиль²⁴³.

В данном случае примечательно, что Каменев, сам хотя и яркий, но не слишком эмоциональный оратор, защищал не столько эмоциональный стиль как таковой, но политическое сообщество, к которому он принадлежал. Его же брат Зиновьев открыто аргументировал свое право на индивидуализм и страстность: «Я не могу говорить мягко и за это мне часто в полемике достается, и лучше было бы иногда помягче, скорее завоеешь товарищей, которые еще думают и разбираются, но не могу». Он обращался с «горячей просьбой» к оппозиционерам: «Ругайте, как хотите, мы не кисейные барышни, критикуйте и ругайте...»²⁴⁴

Яркой иллюстрацией конструирования эмоционального режима на основе разных эмоциональных стилей служит ангажированная статья о дискуссионном собрании одной из крупнейших ячеек — ОГПУ и Московского губернского отдела ГПУ. В начале первого дня собрания, писал автор, оппозиция «оживленно» проявляла «свое существование». Поэтому на этот важнейший участок, помимо бесшумного председателя Дзержинского отправились Бухарин и Зиновьев, которым безуспешно оппонировал Преображенский. Атмосфера рисовалась в красках: «Настроение чекистов-коммунистов *настороженно-напряженное*. Отношение к дискуссии... *сосредоточенно-серьезное*. Выявившиеся во время дискуссии вопросы

о «Доверии или недоверии ЦК партии», о «свободе внутривнутрипартийных группировок», ставящиеся видными членами партии: Преображенским, Сапроновым и т. д., вносят *смятение* в умы и вызывают *тревогу* за судьбы партии». Об оппозиции говорилось, что она «суетится, сплачивается, вызывает “своих докладчиков”, организует “теплую” им встречу...». Мотив «суетливой» оппозиции дополняется указанием на ее же беспристрастность. Если Преображенский «монотонно, поразительно *благодушно* читал свою обычную речь» (и затем «*бледное*» заключительное слово), то Дзержинский выступал «...*со страстностью* старого большевика-революционера, *волнующегося в тревоге* за судьбу единства своей партии (курсив мой. — А. Р.)», и его речь «...произвела сильнейшее впечатление на собравшихся, вызывая ропот кое-где среди оппозиционеров». Речь Зиновьева была «большевистски выдержанной» и удостоилась «бурной овации», и господствовавшее на собрании «чувство серьезности» не ослабело даже от «веселых минуток» выступления Рязанова²⁴⁵. Автора статьи не смущала эклектика в мозаике образов противоборствующих сторон.

При оценке характера дискуссии, а также состояния дел в партии выступавшие ораторы порой пользовались медицинской терминологией. Это могло быть простое указание на «нервный характер» дискуссии в Чите²⁴⁶. Каменев говорил, что «старое единство» партии было «расшатано» в «атмосфере злопыхательства... Партию лихорадит», но «переход к деловым вопросам ее несомненно вылечит»²⁴⁷. Рыков, отказывая оппозиционерам в наличии «организованности», делал вывод: «...это сумасшедший дом»²⁴⁸. Выступая перед другой аудиторией, Радек с иронией вопрошал: «Как так случилось, что в октябре–ноябре 1923 г. вдруг часть партии сошла с ума, начала оппозицию... Что вы, товарищи, с ума сошли как оппозиция, что Вы это не делаете (аплодисменты)»²⁴⁹.

Что противопоставляли оппозиционеры проекту эмоционального режима своих оппонентов? Радек, отличавшийся примирительным тоном, мог прибегнуть к одному из наиболее распространенных примеров: «Когда Владимир Ильич ставил вопрос об опасности раскола, то он его ставил не с той точки зрения, что Троцкий большой драчун, что Зиновьев человек с большим темпераментом, а Сталин очень крепкий человек...» Ленин, в противовес его эпигонам, говорил Преображенский, относился к спорам «со спокойствием», в частности во время «профсоюзной дискуссии», когда Ленин «опасался раскола... тогда никакой паники не было». Более того, когда «заволновалась» партия, то Ленин «не доводил» до паники перед будущим съездом партии. Таким образом, по мысли Преображенского, запугивание привело к панике.

Кроме опоры на авторитеты, использовалось обращение к истории. Преображенский приводил в пример «профсоюзную дискуссию», когда, по его словам, тоже «были страстные прения, но мы не доходили до того, что мы видим теперь». В дискуссии 1923 года Преображенский видел главное отличие от ЦК в том, что «речи оппозиции гораздо более умеренные». С появлением резолюции о внутрипартийной демократии Преображенский утверждал, что «...теперешнее наше разногласие сущий пустяк и нужно быть нервными барышнями, чтобы так горячиться»²⁵⁰. Под «нервной барышней» Преображенский имел в виду Бухарина, выступавшего на том же собрании, но сама «нервозность» виделась как атрибут противников нового курса. «Разве вопрос так серьезно стоит, чтобы так нервничать против критики, что вы грозите единству партии, — говорил лидер оппозиции. — Вы добьетесь этим только того, что партия скажет ЦК: “Успокойся, мы тебе доверяем, но только не нервничай, когда тебя критикует масса”»²⁵¹. Рафаил, выступавший на Московской губернской конференции наиболее резко, в ответ на очередной взрыв негодования в зале и призыв председателя к порядку ответил:

Я не знаю, почему вы так волнуетесь и горячитесь. Т. Каменев говорил в частной беседе, что большинство будет очень спокойно и не будет волноваться и перебивать, а вы проявляете излишнюю нервозность, товарищи²⁵².

Испуг, паника и страх были главными эмоциональными мотивами, которые оппозиционеры приписывали своим оппонентам. Преображенский отмечал «некоторую панику» членов ЦК «из-за резкого, неожиданно оппозиционного настроения» в Москве. Расширив список эмотивов. Преображенский рассуждал: «Или же это продукт непонятого испуга и паники, в которую ЦК партии сперва впал под влиянием событий в Москве, или же это система застрашивания остальных членов партии»²⁵³. Говоря о «пустых запугиваниях», Преображенский объяснял их не только панической реакцией, но и «известным консерватизмом»²⁵⁴. Недопустимо было, разумеется, ни «запугивание», ни «самозапугивание», ни «педагогическое запугивание». Преображенский не побоялся вызвать критику Дзержинского, приведя в пример дискуссию в ячейке ОГПУ: «Здесь уже выступал элемент страха, элемент шкурничества, что если выступлю и скажу свое мнение, то меня при первом случае сократят, и т. д.». Глава чекистов ответил жестко и эмоционально, что если «...такие люди служат

в ГПУ и бояться, они нам не нужны. В ГПУ, как и в нашей партии, должны быть бесстрашные люди»²⁵⁵.

Борьба со страхом, по мысли Радека, должна опираться на разум и начинаться с признания «законности тревоги товарищей»²⁵⁶. Это оказалось вольной или невольной цитатой одного из двух основных оппозиционных документов — письма Троцкого 8 октября. «Неоспорим тот факт, что подавляющее большинство партии, считаясь и с международной обстановкой и особенно с болезнью т. Ленина, было преисполнено готовности поддержать новый ЦК, — писал Троцкий. — Именно это стремление обеспечить возможность единодушной и успешной работы партии заставило многих подавить недовольство и не выносить своей законной тревоги на трибуну съезда»²⁵⁷. Так, до появления резолюции 5 декабря «старый большевик» Брестман, по его словам, «боялся» двух вещей: того, что ЦК не сможет пойти на изменения, и того, что «другие» не будут «еще 2 года молчать», как молчал бы он²⁵⁸. Обоснованность тревоги виделась Радеку именно в этом контексте отложенного преодоления страха, сопровождающегося издержками «лихорадки», упоминаемой и сторонниками ЦК: «Давайте трезво оценивать опасность. Тогда не удивляйтесь, что когда партия открыла рот и когда она трясется в лихорадке, то она говорит глупости, преувеличивает. Надо против этих выступлений... бороться, но не нужно ни себя запугивать, ни партию...» Радек вполне мог бы проиллюстрировать «глупости» и «преувеличения» фигурой дециста Рафаила, самого резкого критика ЦК из числа «офицеров» оппозиции. Проблема запугивания особенно волновала Рафаила: «Есть название: “оппозиция”. Это те, которые имеют смелость выступить с критикой... Тут их сейчас же превращают в оппозицию, и что из этого получается... ее пугают, она боится и молчит в лучшем случае...» Любопытно, что именно в смелости Рафаилу и было отказано тем, кто носил прозвище «Железный Феликс»²⁵⁹. Не случайно в статье о собрании коллектива ГПУ в Петрограде говорилось, что «оппозиция струсила» и проголосовала вместе с большинством²⁶⁰.

В практическом противодействии запугиванию оппозиционеры могли устроить обструкцию сторонникам ЦК. Это в полной мере испытал на себе Зиновьев на одной из районных конференций: «...товарищи, не давайте себя увлекать фракционной страстностью (голос: “не пугайте нас”). Я никого не пугаю, здесь сидят достаточно трезвые люди. Вдумайтесь, товарищи, в суть (шум, звонок председателя). Когда нет аргументов, то обыкновенно поднимают шум на собраниях...» Радек, выступавший до Зиновьева, косвенно прокомментировал поведение единомышленников, отметив, что «расстраивает и озлобляет партию» только неправильное проведение дискуссии: «Всякая

резюлюция, которую “Правда” не печатает или искажает, вносит больше недоверия и озлобления в организацию (голоса: «правильно»), чем сто оппозиционных речей»²⁶¹. Но и оппозиционеру Сосновскому, прежде чем произнести свою речь, пришлось столкнуться с угрозой: «Сосновскому мы точно также устроим обструкцию, если ему дадут говорить больше». Председатель призвал к порядку, после чего Сосновский начал свою речь с противопоставления: «В отличие от Когановича (sic!), я не думаю, чтобы было полезно накалывать атмосферу до 90 градусов, и думаю, что нужно спокойнее разобраться...»²⁶² Такая риторическая тактика не сработала.

Конструируя эмоциональный режим, сторонники ЦК описывали противостоящее им сообщество как в индивидуальном, так и в групповом отношении. Член Донецкого губкома Арон Френкель обратился к Троцкому с личным письмом (с копией в Политбюро), «ибо чувствовал, как и большинство нашего актива, некоторую тревогу... Не думайте, что тревога продиктована паникой». Настаивая на ошибочности взглядов Троцкого, Френкель часто прибегал к персональным характеристикам: «Партия знает Ваш характер, Ваше самолюбие и честолюбие», «Ваш великолепный темперамент Ваш и наш великий друг. Но иногда он большой враг»²⁶³. Среди прочих последняя фраза этого внешне благожелательного письма была подчеркнута Сталиным.

В публичных выступлениях Каменев аттестовал Радека как «спокойного человека», а дециста Смирнова как базировавшегося «на естественном желании шума»²⁶⁴. Василеостровский райком Петрограда в своем списке «выступивших против линии» ЦК различал «сознательных» оппозиционеров и тех, чье недовольство объяснялось субъективными особенностями. Например, 19-летний студент Государственного университета Меер Жив: «Молодой. Ищет сильных ощущений»; член партии с 1910 года, учащаяся рабфака Университета Елизавета Коваленко: «С упадочными настроениями. Отсутствие веры, всегда чем-нибудь недовольна»; рабфаковец Николай Степанов, о котором шла речь в связи с делом рабфаковцев: «Благодаря тяжелому материальному положению озлоблен»²⁶⁵. Проверочная комиссия по «непролетарскому составу», разбирая дело «примыкавшего к оппозиции», могла исключить его, вменив «мещанскую психологию»²⁶⁶. Но та же самая тройка партконтроля, «приняв во внимание революционные заслуги и партийную работу», могла оставить в партии, невзирая на убийственную характеристику: «Держит курс на оппозицию, по психологии Троцкист»²⁶⁷.

Индивидуальные характеристики встречались намного реже социальных. Зиновьев неоднократно чертил перед глазами слушателей

«чертежник» партии, отмечая на нем выходцев из других партий — «прослойку, которая имеет свою особую психологию». Чем могла быть опасна «массовая группа членов партии с другим прошлым, с другой психологией»? Во влиянии чуждых классов: «В Наркоминделе есть тысяча членов партии, и у них психология другая, чем у рабочих»²⁶⁸. В подопечной Зиновьеву парторганизации классовая риторика культивировалась особенно сильно, усугубляя и без того плачевное положение оппозиционеров.

В этом отношении примечательна статья о дискуссии на «Пролетарском заводе», где, по словам автора, «...оппозиция в виде сюрприза мобилизовала свои лучшие питерские силы во главе с московским “гостем” — тов. Эльциным из красной профессуры», который «в своем профессорском безответственном красноречии» якобы заявил, что партия «превратилась в мертвый труп». Эльцин, по словам автора, говорил «все о том же... о запугивании», но «...несмотря на то, что все приемы оппозиции были, главным образом, рассчитаны на чувства рабочих... карта их была бита спокойным и деловым отношением пролетарцев к разбору партийных вопросов...»²⁶⁹. В другой статье рисовался образ «теоретически» подкованных партийцев, разоружающих тех, кто искал подходы через жизненные примеры:

Нередко встретить небольшой подчас коллектив, где на собрании добрая половина товарищей вооружена кучей книг и газет. Классово-партийное чутье указало ему на ошибки оппозиции — он подыскивает теоретическое подтверждение.

— Товарищи, докладчик кормил вас высокой теорией — я буду говорить о жизни, — начал свой доклад один из «оппозиции». Глядишь, в прениях рядовой товарищ покрыл его цитатой из Ильича. И не просто покрыл — зацепил и не выпускает. — Нет, ты отвечай: верно или неверно...²⁷⁰

Несмотря на восхваление практик начетничества, автор-рабочник, скорее всего, рисовал идеализированную картинку, но она была созвучна взглядам редакции и в любом случае служила политическим задачам борьбы с оппозицией.

Поддержка оппозиции молодежью придала новые силы традиционному конфликту поколений, и в соответствии с этим — вполне традиционным — дискурсом «психология» молодежи занимала отдельное и значительное место. Интерес оппозиции к молодежи, говорил, обращаясь по-отечески Зиновьев к соответствующей части аудитории, был не больше, чем «фракционной игрой

на некоторых струнках вашей души». Зиновьев представил молодежь в качестве жертвы неправильного воспитания: «...не такую психологию мы должны воспитывать в нашей молодежи, а вы встревожили эту молодежь, подняли часть инстинктов не совсем хороших, мобилизовали не сознание молодежи, а мобилизовали некоторые пережитки прошлого, мобилизовали некоторые такие чувства, что если бы тов. Ленин посмотрел, то он бы, как говорил по поводу платформы тов. Троцкого в 1921 году: читал, смотрел, познакомился, скажу коротко: “унеси ты мое горе”»²⁷¹. В том же духе секретарь Замоскворецкого райкома Землячка переживала, что «партийный молодняк уйдет отсюда с тяжелым сердцем и в конечно счете у него потеряется вера (!) правильного понимания момента». Правильная дискуссия, по ее мнению, состояла не в критике, а в «просвещении»²⁷². Зиновьев неоднократно вспоминал «остроумную фразу», которую он якобы услышал от «старого рабочего большевика в Питере» по адресу партийцев из вузов: «взуть» как синоним «бузить». Изобретенный глагол весьма метко отразил отношение старшего и господствующего поколения: «Тут есть некоторая укоризна в этом слове, но в нем есть и отеческая ласка, — “пускай повзуют, а затем уразумеют, это не так страшно”»²⁷³. В дни проведения районных конференций в Москве появился некролог, в котором был представлен идеальный образ молодого сторонника ЦК. В безвременно ушедшем двадцатилетнем студенте-свердловце, ветеране сибирского подполья, автора некролога

...все время поражало сочетание горячего революционного темперамента и спокойной выдержки опытного борца-партийца... Когда разгорелась дискуссия... Михайлов, быстро разобравшись, стал на строго партийный путь и повел идейную борьбу с товарищами из оппозиции, борьбу, лишенную кричащих фраз, но борьбу неуклонную и верную. Дискуссия и связанные с ней для настоящего партийца переживания так мучили тов. Михайлова, что даже в бреду, накануне своей смерти, он кому-то громко доказывал правильность своей позиции в этом вопросе²⁷⁴.

Подобное сочетание клише было бы невозможно вне контекста внутривнутрипартийной борьбы. Идеальность героического образа могла бы послужить иллюстрацией апокрифичной добродетели «холодной головы, горячего сердца и чистых рук», впервые приписанной Дзержинскому в 1941 году. Знаком же эпохи двадцатых годов служит натуралистичное указание на предсмертный «бред».

Сторонники ЦК закрепляли свою победу в терминах эмоций. В циркуляре Дальбюро ЦК РКП к губкомам, посвященном дискуссии в читинской организации, была выявлена «тенденция дискуссии ради дискуссии», о чем свидетельствовало неразумно долгое обсуждение — «свыше 20 часов на протяжении трех дней». Эта и другие тенденции, впрочем, «...не носили осознанного, продуманного характера, а были скорее проявлением излишней горячности отдельных членов партии...»²⁷⁵. «Сегодня голосуйте как хотите, нас не *застыгает* поднятием рук, — говорил Зиновьев, — но если через неделю или месяц во время бессонной ночи вы задумаетесь над схемой партии, над ее переплетом, то я своей цели достиг» (курсив мой. — А. Р.)²⁷⁶. В Киеве указывалось на «недопустимость панических перевыборов». В Екатеринбурге призывали партию обсуждать и принимать решения «хладнокровно, без нынешней московской горячки». Сторонник ЦК, выступая против «широчайшего демократизма» оппозиции, наоборот — за «простыми словами говоря, демократизм, но не до бесчувствия»²⁷⁷.

В своем официальном заявлении о разногласиях Политбюро издевалось над вмененным оппозиции намерением «представить дело так», что «она «несет мученический венец, страдает за “демократию”». Оппозиционеры «сбавили тон, потому что их разбили», скажет Зиновьев под аплодисменты. Каганович окрестил «новой тактикой» оппозиции «пустить слезу и через слезу взывать к чувствам колеблющихся». Такой же реакции, вместе с шумом протеста, удостоился делегат Трубленко, давший интерпретацию выступления Преображенского: «...плач и слезы, “не бейте нас”, не надо нас тревожить, ведь мы люди почтенные... мы люди такого характера и склада». В том же ключе говорил о «тоне» Преображенского Ярославский: «...выходит здесь христосиком и плачется». В подобной атмосфере беспомощно звучало «заявление» Радека, что его «возглас» за здоровье «единой» партии не был «...призывом к примирению, а к такому положению, чтоб мы могли как один человек с радостью работать...». Мотивы удовольствия и радости окончательно исчезали из риторики оппозиционеров. «Единство», стремление к которому Зиновьев назвал «чувством, преобладающим над всем остальным», стало невозможным испытывать в оппозиции к ЦК²⁷⁸.

Как было показано в предыдущем разделе, поражение оппозиции открывало простор для партийного правоприменения. В связи с этим некоторые сторонники ЦК вспоминали, что Ленин в ситуации осуждения «Рабочей оппозиции» в 1921–1922 годах давал контрольным комиссиям рекомендации учитывать «психологические» особенности ее сторонников перед принятием тех или иных решений. В этой

связи Яков Яковлев даже считал, что «особо важно попытаться поставить на прямую работу по исправлению существующих недостатков тех оппозиционных товарищей, у которых оппозиционное настроение определяется особой чувствительностью к недостаткам наших аппаратов»²⁷⁹. В дискурсе сторонников ЦК оправдание оппозиции еще не было чуждым, но облекалось оно в термины «психологии». Для Александра Мартынова, одного из бывших лидеров меньшевизма, принятого в РКП(б) на XII съезде, «...не подлежало сомнению, что главный мотив, побудивший оппозиционеров с яростью выступить против Центрального Комитета, была тревога по поводу выявившегося кризиса... Этот кризис вызвал у них больше чем тревогу; он вызвал у них настоящую панику»²⁸⁰.

Юрий Лутовинов относился к числу тех, кого мог иметь в виду Ленин в 1921 году (он был видной фигурой в «Рабочей оппозиции»), но не был среди тех, кого имел в виду Мартынов. 7 мая 1924 года он покончил жизнь самоубийством, и это событие имело большой резонанс. Григорий Григоров, много общавшийся с Лутовиновым, был убежден, что причиной самоубийства стала его окончательная уверенность в победе «контрреволюции». На похоронах, превратившихся в массовую демонстрацию, выступил Троцкий, связавший событие с бюрократизацией²⁸¹. Иная интерпретация самоубийства звучала из уст сторонников ЦК. Серафима Гопнер, комментируя его по «горячим следам» перед делегатами Всеукраинской партийной конференции, прибегла к вульгарно-социологическому объяснению:

Несомненно — это самоубийство очень многих взволновало. Я уверена, что в рабочих кругах, где его знают, об этом будут много говорить. Мы не знаем причин его самоубийства, но каковы бы они ни были, я хочу сказать, что это явления одного и того же порядка. Если он покончил с собой по каким-нибудь так называемым личным причинам, то это доказывает, что он находился в состоянии упадочном потому, что общественный инстинкт в нем не взял верх над личным. Если же он покончил по соображениям общественного порядка, то, следовательно, он находился тоже в состоянии упадка... Это означает, что имеющиеся у нас группировки требуют своего уяснения. И это объяснение имеется в наших собственных резолюциях X и XI съездов, которые говорят, что мы вступили в сложную полосу НЭПа и что нам грозит опасность не только извне, но и изнутри. У нас, несомненно, определенные группы и элементы впадают в упадочное настроение²⁸².

За рамками этого рассуждения доджоркгеймовской эпохи, сколь путанного, столь и характерного, остался собственно личностный контекст трагедии, чуждый для «общественного инстинкта», нетерпимого к «упадочному настроению»²⁸³. В ходе внутрипартийной борьбы сторонники ЦК успешно отразили обвинения в запугивании и делигитимировали «лихорадку» бесконечных дискуссий, чтобы маркировать оппозиционную «страстность» мелкобуржуазностью и противопоставить ее «разуму» единой партии. Так эмоциональный стиль, до того отличавшийся скорее в ситуативных позициях, чем в принципах, постепенно стал обретать свое сообщество-носителя и свой нормативный режим — будь это выборы, информация, конфликты или эмоции. На фоне громких фраз о «единстве» внутрипартийный режим углублял отчуждение. К внутрипартийной публике, серьезно изменившей свой облик в ходе дискуссии и последовавшего «Ленинского призыва», стало возможно применение агитационно-пропагандистских приемов, объектами которых до того были непартийные массы. Как гласил небольшой лозунг, помещенный в табличке на одной из страниц «Правды»,

Тебе нужно *убедить* и *увлечь* за собой?

Убеждай цифрами и фактами, останавливай и поражай.

Действуй на чувства и волю²⁸⁴.